

R E C E N Z J E

Bożena Żejmo
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Александр Эткинд, *Кривое горе. Память о непогребенных*, автор. пер. с англ. Вл. Макарова, Новое литературное обозрение, Москва 2016, с. 311.

Новая книга Александра Эткинда — это необыкновенная панорама пост-катастрофической культуры, рассказ о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Культурная память после социальной катастрофы — очень сложное пространство, в котором сосуществуют жертвы и палачи. «Работа» горя, как доказывает автор, воспроизводит прошлое в воображении, текстах, общении, ритуалах; она «возвращает мертвых» к жизни. Репрезентация прошлого делает его настоящим, хотя в «безопасной для субъекта форме».

В своем научном исследовании Эткинд опирается на категорию «миметического горя», под которой подразумевает повторяющуюся реакцию на потерю, символически воспроизводящую саму потерю (с. 11). Автор, вслед за Рут Лис (R. Leys, *Trauma: A Genealogy*, Chicago University Press 2000) различая миметические и антимиметические теории травмы, приходит к выводу, что миметические теории травмы не выдерживают критического анализа. Одновременно в отличие от Лис, Эткинд утверждает, что скорбь нельзя сводить к травме, хотя теория травмы помогает частично понять суть горя. Его концепция «миметического горя» частично схожа с «травматическим реализмом» Майкла Ротберга (M. Rothberg, *Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation*, University of Minnesota Press 2000). Эткинд подчеркивает горе и перформативность, Ротберг — травму и реализм.

Почему именно горе, не травма, более адекватна категория к стране, в которой миллионы остаются непогребенными? Эткинд отвечает: поколению террора достаются массовые захоронения, первому поколению после катастрофы — травма, второму и последующим — горе. Исторические катастрофы наносят травму первому поколению потомков. Их сыновья и дочери — внуки жертв и палачей — испытывают уже не травму, а горе по своим дедам и бабкам. Мертвые травмы не знают — констатирует Эткинд.

Американский историк Стивен Коткин заметил в постсоветской трансформации «шекспировские черты», Эткинд увидел Гоголя: «культурные жанры памяти в России демонизируют необычные и, может быть, даже извращенные — кривые — формы горя по прошлому, которые связаны с подобными же способами понимания настоящего» (с. 12). Главную причину такой ситуации усматривает автор в нескольких источниках. Первый, это самоубийственная природа советского террора. Именно она и затрудняет работу тех механизмов, которые необходимы обществу, пережившему катастрофу: скорбь о жертвах, желание добиться правосудия и отомстить виновным. Самоубийственный ха-

рактер советских злодеяний препятствует мести и ограничивает сознание. Не менее отрицательную роль играет тут незаконченность процесса реабилитации жертв репрессий. В этом контексте Эткинд пишет: «Справедливость была восстановлена не внешней силой, с помощью оккупационной власти или международного суда, но политическим решением, принятым советскими правителями с целью своего собственного самооправдания. В России не было серьезных споров — религиозных или светских — о проблемах коллективной вины, памяти и идентичности» (с. 21). В то время когда Карл Ясперс написал *Проблему немецкой вины* (1946), в России ничего подобного не было, напротив — любой российский ученый (и политик) может без малейшего риска пропагандировать советское прошлое, умалчивая о его преступлениях. В постсоветской историографии сталинизма длится давний спор между т.н. тоталитарной школой и ревизионистами. Сторонники тоталитарной теории теряют с поля зрения подлинный парадокс советской власти, заключающийся в том, что население СССР было одновременно и объектом насилия со стороны институтов власти и их субъектом. Насилие создавали те же самые люди, которые были его жертвами.

Согласно Эткинду, постсоветскую память можно продуктивно исследовать используя три методологии. Первая — это фрейдистский психоанализ горя. Фрейд обнаружил анахроничный феномен, заключающийся в уникальной способности прошлого заражать настоящее. Механизм того, как прошлое становится релевантным для настоящего, особо ярко передает дихотомия повторения и воспоминания. В воспоминании прошлое и настоящее различны, в повторении они слиты воедино, так что прошлое мешает субъекту видеть настоящее. Только импульс к воспоминанию может преодолеть принуждение к повторению, но силы сопротивления мешают этому процессу: «Чем сильнее сопротивление, тем обильнее воспоминание заменяется проигрыванием (повторением)» (с. 30). На подмостках посткатастрофической памяти, пишет Фрейд, диалектика повторения и воспоминания создает искривленные образы, в которых сознательное исследование прошлого сочетается с его воспроизводством в превращенных формах. Духи, призраки, демоны и другие создания сплавливают проигрывание с воспоминанием в различных творческих сочетаниях — наивных или изощренных, регрессивных или продуктивных, типических или необыкновенных. Фрейд следующим образом разъясняет общую логику повторения: «Если страдание не вспоминается, оно повторится. Если не оплакать мертвых, они, как привидения, будут страшить живых. Если не признать утрату, она угрожает вернуться в странных формах; это особенное сочетание старого и странного есть жуткое. Это жуткое — скрытно-родное, подвергшееся вытеснению и вернувшееся из него» (с. 30).

Анализируя литературные тексты, Фрейд подчеркивает особый способ передачи жуткого опыта, который ученые позднее назовут «метонимическим», а Михаил Бахтин «готическим реализмом».

Говоря о горе, Фрейд обосновывал различие между болезнью и здоровьем, но такое различие, как справедливо замечает Эткинд, не могло работать в эпоху террора. Миллионы жертв были лишены права переписки или погибли неизвестно где. За ними следовало долгое молчание, которое приводило к разрушению памяти о мертвых. Как заметил Жак Деррида, «нет ничего хуже для работы горя, чем сумбур или сомнение; нужно точно знать, кто погребен и где... Пусть он там и останется и больше не двигается!» (с. 31).

В современной России практика горя не завершилась. Владимир Сорокин сказал в одном из интервью: «Россия советский труп не похоронила, к сожалению. Его отодвинули и сказали, что сгниет сам. Нет, он оказался живучий. Силы, которые хотели возвращения старого, магическим образом его оживили. Сейчас он поднялся в виде зомби. Это вид ужасный, на самом деле. Он пугает цивилизованный мир» (Вл. Сорокин, *Помутнение умов в России — временная болезнь*, <http://www.radiopolsha.pl/6/249/Artykul/211307>).

Второй способ исследования постсоветской памяти, который частично использовал Эткин в *Кривом горе* — это теория «игры скорби» Вальтера Беньямина. Ссылаясь на Фрейда, Беньямин предложил риторическую концепцию аллегории как ключа к миру меланхолика. «Волю к аллегории» он рассматривает как особого рода первичное желание, которое заключено в структуре меланхолии. В процессе выкапывания прошлого в настоящем память превращается в воображение. В посткатастрофическом состоянии многих авторов и читателей объединяет желание поэтически воспроизвести катастрофическое прошлое, и это происходит в литературе.

Особенно привлекательной эпистемологией является для Эткина идея русского формализма — остранение. Остранение изоцированных, противостоит фрейдовской воле к смерти и способно победить связанный с ней механизм вечного повторения травматической памяти. Именно остранение спасает жизнь скорбящего от эксцессов миметического горя: «когда спектакль горя, воспроизводя потерю, слишком приближается к реальности, это может привести к убийству или самоубийству. Память обезвреживает повторение, здоровое воспоминание избегает риска. Миметическое горе подражает потере, но не воспроизводит ее. Различия между утраченным прошлым и его миметической моделью не менее важны, чем их сходства. С помощью магии, культуры или анализа скорбящий создает *маркеры различия*, которые помогают варьировать серийные *ре-презентации* прошлого» (с. 37).

Кривое горе рассказывает о многих культурных жанрах от фильмов до мемориалов, но в центре внимания — художественная литература. Первая часть книги *Мимезис и подрыв* посвящена рассуждениям о взаимоотношениях горя с другими культурными и психологическими процессами — травмой, повторением, местью и юмором. Значимым является замечание Эткина, что скорбь по жертвам советского эксперимента сосуществует со скорбью по идеям и идеалам, похороненным вместе с этим экспериментом. Образуется что-то вроде двойного горя: по людям, убитым ради идей и по самим идеям, «которые были убиты насильем над людьми» (с. 24). После катастрофы общество страдает не только от смерти своих граждан, но и от разрушения культурных символов, социальных связей и духовных верований. Работа горя оказывается тогда важным источником общественной солидарности.

В главе второй автор доказывает, что горе по прошлому часто связано с предостережением о будущем. Констатируя недостаток внимания к советскому насилию, Эткин советует читать *Все течет* Василия Гроссмана в ключе теории «эффекта бумеранга» Ханны Арендт. В советской России поток истории был искривлен, политические модели, основанные на постоянном и массовом насилие, распространялись из культурного и географического центра к периферии, а потом вновь возвращались в центр, «легитимированные и обогащенные свежим опытом» (с. 52). Придумываемая кавказское происхождение своему герою, этническому русскому и жертве сталинизма, Гроссман создал живую

версию Арендтского бумеранга. В своем возвратном действии полет этого имперского орудия превратил потомка колонизаторов в жертву внутреннего насилия: «Один бумеранг летит обратно в ГУЛАГ из мест внешней колонизации, в данном случае с Кавказа. Другой возвращается туда из российской внутренней колонии, крепостных поместий. В этой исторической панораме соединяются два центростремительных движения, которые направлены с географической и социальной периферии России в ее единый центр, каким и был ГУЛАГ» (с. 55).

В главе *Притча неузнавания* (с. 67–86) показано, как в темные времена 30. и 50. годов, когда режим отказывался признавать, что применял насилие по отношению к своим гражданам, траур по его жертвам становился политическим шагом — весьма важным, а иногда и основным механизмом сопротивления режиму. В центре внимания Эткинды *Воспоминания* Надежды Мандельштам как памятник узнаванию всех жертв режима, так тех, которых место и время гибели оставались неузнаваемыми, как и тех, которые вернулись «другим человеком». Потеря идентичности становится видимой и ужасает семью. Еще в 1919 году Осип Мандельштам говорил своей будущей жене, что две самые важные для него темы — это смерть и узнавание (с. 71). Неузнавание приводит к чувству взаимного отчуждения. После шести лет лагеря Андрей Синявский говорил о синдроме «седла», под которым подразумевал пропасть между «до и после выхода из-за проволоки» (с. 143). История человека, которого государство изменило настолько, что его перестали узнавать самые близкие, работает как средство выявления и осуждения трансформативной силы самого государства — ставит свою гипотезу автор *Кривого горя*. В культурной памяти, пишет Эткинд, «притча неузнавания» выражает ужас перед лагерями, вину тех, кто их избежал, провал в коммуникации между двумя частями советского общества.

Особого внимания заслуживает глава *История после тюрьмы* (с. 87–114), в которой автор обращается к глубоким, хотя и замаскированным, историям травмы и горя, возвращая в исторический контекст те знаменитые или малоизвестные сочинения, которые, выжившие жертвы террора, в том числе профессиональные историки, писали после выхода из лагеря или возвращения из ссылки. Интеллектуальную жизнь ГУЛАГа характеризовал среди других ее радикализм. Вслед за Лихачевым Эткинд утверждает, что в «фантастической» и «чудовищной» жизни лагеря не работали привычные механизмы проверки идей на истинность. Рациональность и здравый смысл приспособлены к цивилизованной жизни, а не к лагерному «театру абсурда». Поэтому идеи, которые рождались в лагере, резко противоречили общепринятым взглядам. Интеллектуалы поддерживали «невозможные теории», делали «ошарашивающие» доклады и противоречили общепризнанным фактам, то есть тому, что считалось истиной за стенами лагерей и дестабилизировало лагерный опыт (с. 114).

Глава *Должок перед мертвыми* (с. 143–172) переносит читателя в середину 1960-х, когда интеллектуалы играли с советскими судами в новые меланхолические игры. Комбинация миметического горя и политического сопротивления нередко приводила скорбящих в главные места памяти о советском терроре — в лагеря. В главах *Путь космополита* (с. 173–203) и *История двух превращений* (с. 204–220) Эткинд рассматривает, как миметическое горе проявляется в российских фильмах позднесоветского и постсоветского периодов (Козинцев, ранний Рязанов, Герман, Михалков). Глава *Твердое и мягкое*

(с. 221–246) посвящена памятникам жертвам советского режима и тому, как они соотносятся с поэтическими и прозаическими текстами. Из последней главы *Кривого горя — Магический историзм* (с. 276–305), читатель узнает о нынешнем состоянии постсоветского горя. Оно и сейчас кривое — констатирует Эткинд. В творчестве таких писателей, как Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Владимир Шаров, Павел Крусанов и Дмитрий Быков исследователь видит уход в прошлое с целью объяснения настоящего. Какие бы фантазии о прошлом или настоящем ни приходили в голову их авторам, их цель «обычно состоит в том, чтобы понять основную травму или, точнее, катастрофу советского периода» (с. 293).

В России не сложился консенсус в отношении к прошлому — пессимистически заключает свою книгу Александр Эткинд. Прошлое преследует россиян, разделяет общество и ограничивает политический выбор. Если политический режим хоть и прошел многие трансформации, но уклоняется от ясного понимания прошедшей катастрофы; если палачи не осуждены; потерпевшим не возмещены убытки и не возведены памятники жертвам, то память о катастрофе приобретает особые формы. В этом контексте весьма значителен фрагмент книги озаглавлен *Памятники, которых нет*: «Сегодня на центральной площади много видевшей Вологды [...] стоят памятники героям Октябрьской революции, Отечественной войны и еще мемориальный знак на месте православного собора, уничтоженного в советские годы. Четвертый угол площади пустует, будто ждет мемориала жертвам советского террора, которых в Вологде и ее окрестностях — сотни тысяч. «Нет ничего неприметнее памятника», сто лет назад сказал Роберт Музиль. На руинах Советской империи, я бы добавил: нет ничего заметнее памятника, которого нет» (с. 224).

Кривое горе — книга чрезвычайно интересная и актуальная. Эткинд предлагает опыт рефлексии, осмысления, осознания случившегося, то есть именно то, чего так не хватает сейчас россиянам. Автор справедливо заявляет, что «только постоянные акты узнавания незнакомого, вспоминания забытого, включения исключенного помогут сохранить целостность и жизнеспособность новой российской культуры». Это книга не только для россиян, она и для всех, кто ведет сегодня «войны памяти». Их ведут те, кто призывает к состраданию жертвам, против тех, кто настаивает на своей преемственности в деле их мучителей.